



ОНОРЕ

ДЕБАЛЬЗАК

*НЕВЕДОМЫЙ
ШЕДЕВР*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Оноре де Бальзак
Неведомый шедевр

«Издательство АСТ»

1831

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44

Бальзак О.

Неведомый шедевр / О. Бальзак — «Издательство АСТ»,
1831 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-093740-0

«Эликсир долголетия». У смертного одра своего отца величайший из соблазнитель и циников Дон Жуан становится обладателем и хранителем великого и опасного магического артефакта... «Неведомый шедевр». Старый художник всю жизнь посвятил созданию одного-единственного шедевра – загадочного портрета, который он не показывает никогда и никому... «Поиски абсолюта». Знатный фламандец, одержимый тайнами познания, готов ради них на все: на расточительство, одиночество, разрыв с близкими и даже на преступление... «Прощенный Мельмот». Вот уже много веков странствует по миру бессмертный Мельмот-Скиталец. Кто же согласится принять его бессмертие, а с ним вместе и его проклятие? Перед вами четыре поразительные новеллы, входящие вместе с «Шагреновой кожей» в цикл «Философские этюды».

УДК 821.133.1-31

ББК 84 (4Фра)-44

ISBN 978-5-17-093740-0

© Бальзак О., 1831

© Издательство АСТ, 1831

Содержание

Эликсир долголетия	6
Неведомый шедевр	18
I. Жиллетта	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Оноре де Бальзак Неведомый шедевр

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Эликсир долголетия

Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д'Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семь женщин вели веселую приятную беседу за столом, на котором горели благовонные свечи; по сторонам на красной облицовке стен выделялись беломраморные изваяния и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, украшенные драгоценными камнями – менее яркими все же, чем их глаза, – всем своим видом эти семь женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходились между собой, но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам свой характер беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный.

Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».

Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».

Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».

Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, восклицала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»

Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей, но безмолвствовала. «Мне не понадобятся *bravi*, чтобы убить любовника, ежели он меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бонбоньерку.¹

– Когда станешь ты герцогом? – спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.

– Когда же твой отец умрет? – со смехом говорила седьмая, пленительным, задорным движением кидая в дону Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.

– Ах, не говорите мне о нем! – воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро. – На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!

Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дону Хуана и самого князя. Лег через двести, при Людовике XV, франты расхотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в начале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то что взорам являлись восхитительнейшие женщины, – может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и Божеским судом – до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шальными – опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух Божий в образе старого седого слуги с нетвердой походкой и насупленными бровями. Он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск праздника, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорой женским белым плечам. И весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:

¹ Наемные убийцы (*ит.*).

– Ваша светлость, батюшка ваш умирает...

Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».

Нередко смерть близких застаёт молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница, но смерть более верна и ещё никого не обманула.

Закрыв за собой дверь зала и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь, войдя в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть, и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.

Отец дона Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания», – улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутливо говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был единственный случай, когда старик любит юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда уже достиг шестидесятилетнего возраста, Бартоломео влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятнадцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны. Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные привычки, которые он усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет: он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палаццо оглашалось радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе и пажы ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему верному товарищу – черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А, это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца столь покладистого и снисходительного, поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкой добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И, чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажил на свете. Он вновь обретал в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать честным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных залов, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью возле полуугасшего очага. На столике готиче-

ской формы стояла лампа и время от времени освещала ложе вспышками света то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому доном Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, обозначилась голова отца: черты лица его уже осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полуоткрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной и напоминала череп на столе у медика. Под складками одеяла ясно вырисовывалось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло, кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили какой-то механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.

– Ты веселился! – воскликнул отец, приметив сына.

В ту же минуту легкий и чистый голос певички, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладал над воем урагана и донесся до комнаты умирающего... Дону Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.

Бартоломео сказал:

– Я не сержусь на тебя, дитя мое.

От этих нежных слов не по себе стало дону Хуану, который не мог простить отцу его разящей как кинжал доброты.

– О, как совестно мне, отец! – сказал он лицемерно.

– Бедняжка Хуанино, – глухо продолжал умирающий, – я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!

– О! – воскликнул дон Хуан. – Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вернуть жизнь вам!

«Что мне стоит это сказать! – подумал расточитель. – Ведь это все равно что дарить любовнице целый мир!»

Едва он так подумал, старый пудель залаял так, что от его лая задрожал дон Хуан: казалось, пес проник в его мысли.

– Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! – воскликнул умирающий. – Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.

«Он бредит», – решил дон Хуан, а вслух произнес:

– Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.

– Не о такой жизни идет речь, – сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение – одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти. – Выслушай меня, мой сын, – продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия, – я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты – от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота...

«Разумеется», – подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно-бледную руку Бартоломео.

– Но, отец мой, дорогой отец, – продолжил он вслух, – нужно покориться воле Божьей.

– Бог – это я! – пробормотал в ответ старик.

– Не богохульствуйте! – воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика. – Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомзания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.

– Выслушай же меня! – воскликнул умирающий со скрежетом зубным.

Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды виолы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.

– Спасибо тебе, что пригласил певиц, что привел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные женщины, черные волосы и белая кожа! Все наслаждения жизни. Вели им остаться, я живу...

«Бред все усиливается», – подумал дон Хуан.

– Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящике стола, открой его, нажав пружинку, прикрой грифом.

– Открыл, отец.

– Возьми флакон из горного хрусталя.

– Он в моих руках.

– Двадцать лет потратил я на... – В эту минуту старик почувствовал приближение конца и собрал все силы, чтобы произнести: – Как только я испущу последний вздох, тотчас же натри меня всего этой жидкостью, и я воскресну.

– Здесь ее не очень много, – ответил юноша.

Хотя говорить уже не мог, Бартоломео сохранил способность слышать и видеть. В ответ на слова сына голова старика с ужасной быстротой повернулась к нему, и шея застыла в этом повороте, как у мраморной статуи, которая, по мысли скульптора, обречена смотреть в сторону; широко открытые глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер, умер, потеряв свою единственную, последнюю иллюзию. Пытаясь найти убежище в сердце сына, он обрел могилу глубже той, которую выкапывают для покойников. И вот ужас разметал его волосы, а глаза, казалось, говорили. То был отец, в ярости взывавший из гробницы, чтобы потребовать у Бога отмщения!

– Эге! Да он кончился! – воскликнул дон Хуан.

Спеша поднести к свету лампы таинственный хрустальный сосуд подобно пьянице, который смотрит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул: показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться за занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в доне Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерей таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неясственные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка – словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дон Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные утренними лучами, когда солнце борется с бледными

огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свои соболезнования.

– Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? – сказал князь на ухо Брамбилле.

– Но ведь его отец был в самом деле очень добр, – ответила она.

Между тем от ночных дум на лице дон Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть: все, что олицетворяло жизнь, – пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство – религией! Князь сочувственно пожал руку дону Хуану; потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная-полуравнодушная гримаса, и фантазмагорическое видение исчезло, зал опустел. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:

– Странно! Кто бы подумал, что дон Хуан мог похвастаться безбожием? Он любит отца.

– Обратили вы внимание на черного пса? – спросила Брамбилла.

– Богатствам его счету нет теперь, – со вздохом заметила Бьянка Каватолино.

– Велика важность! – воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бонбоньерку.

– Велика ли важность? – воскликнул герцог. – Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!

Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже чревата ужасающим эгоизмом. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим занимательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.

– Оставьте меня здесь одного, – сказал он странно изменившимся голосом. – Зайдете сюда потом, когда я выйду.

Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:

– Попытаемся!

Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, бальзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнаты, и хоть мягкое сукно неясно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже покрылось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить бальзамирование. Хоть дон Хуан и был вооружен скептицизмом, но, откупоривая волшебный хрустальный сосуд, дрожал. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так как его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора. И вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.

– Ага! – произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.

Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы. Свет дрожал в нем среди свежей влаги, и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дон Хуана; он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал; он впивался в дон Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании, – словом, это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось жизни в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил и прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке, на висевших на стенах коврах. Всю комнату усеяли искры, полные огня, жизни, разума. Повсюду сверкали глаза и преследовали его, как затравленного зверя.

– Он прожил бы еще сто лет! – невольно воскликнул дон Хуан в ту минуту, когда дьявольская сила опять привлекла его к ложу отца, и взгляделся в эту светлую искорку.

Вдруг веко в ответ на его слова закрылось и открылось вновь, как то бывает у женщины, выражающей согласие. Если бы даже услышал «да!», дон Хуан не испугался бы так.

«Как быть?»

Он храбро протянул руку, чтобы закрыть белеющее веко, но усилия его оказались тщетными.

«Раздавить глаз? Не будет ли это отцеубийством?» – задал он себе вопрос.

«Да», – ответил глаз, подмигнув с жуткой насмешливостью.

– Ага! – воскликнул дон Хуан. – Здесь какое-то колдовство!

Он подошел ближе, чтобы раздавить глаз, но крупная слеза потекла по морщинистой щеке трупа и упала на ладонь юноши.

– Какая жаркая слеза! – воскликнул он, садясь. Этот поединок его утомил, как будто он наподобие Иакова боролся с ангелом. Наконец он поднялся, говоря: – Только бы не было крови.

Потом, собрав в себе все мужество, необходимое для подлости, он не глядя раздавил глаз при помощи полотенца. Неожиданно раздался ужасный стон: взыв, издох пудель.

«Неужели он был сообщником этой тайны?» – подумал дон Хуан, глядя на верную собаку.

Дон Хуан Бельвидеро прослыл почтительным сыном: воздвиг на могиле отца памятник из белого мрамора и поручил выполнение фигур знаменитейшим ваятелям того времени. Полное спокойствие он обрел лишь в тот день, когда статуя отца, склонившая колена перед изображением Религии, огромной тяжестью надавила на могилу, где сын похоронил единственный укор совести, тревоживший его сердце в минуты телесной усталости. Произведя подсчет несметным богатствам, которые скопил старый знаток Востока, дон Хуан стал скупцом: ведь ему нужны были деньги на две жизни человеческие. Его глубоко испытующий взгляд проник в сущность общественной жизни и тем лучше постиг мир, что видел его сквозь замогильный мрак. Он стал исследовать людей и вещи, чтобы раз навсегда разделаться с прошлым, о котором представление дает история; с настоящим, образ которого дает закон; с будущим, тайну которого открывают религии. Душу и материю бросил он в тигель, ничего в нем не обнаружил и с тех пор сделался истинным *доном Хуаном!*

Став владыкой всех житейских иллюзий, молодой, красивый, он ринулся в жизнь, презирая свет и овладевая светом. Его счастье не могло ограничиться мещанским благополучием, которое довольствуется неизменной вареной говядиной, грелкой – на зиму, лампой – на ночь, и новыми туфлями – каждые три месяца. Нет, он постиг смысл бытия! Так обезьяна хватается кокосовый орех и без промедления ловко освобождает плод от грубой шелухи, чтобы заняться сладкой мякотью. Поэзия и высшие восторги страсти были уже не для него. Он не повторял ошибок тех властителей, которые, вообразив, что маленькие душонки верят в души великие, решают разминивать высокие мысли будущего на мелкую монету нашей повседневной жизни.

Конечно, и он мог, подобно им, ступая по земле, поднимать голову до небес, но предпочитал сидеть и осушать поцелуями нежные женские губы, свежие и благоуханные; где ни проходил, повсюду он, подобно Смерти, все бесстыдно пожирал, требуя себе любви-обладания, любви восточной, с долгими и легкими наслаждениями. В женщинах он любил только *женщину*, и ирония стала его обычной манерой. Когда его возлюбленные превращали ложе любви в средство для взлета на небо, чтобы забыться в пьянящем экстазе, дон Хуан следовал за ними с той серьезностью, простодушием и откровенностью, какую умеет напустить на себя немецкий студент. Но он говорил «я», когда его возлюбленная безумно и страстно твердила «мы»! Он удивительно искусно позволял женщине себя увлечь. Он настолько владел собой, что внушал ей, будто бы дрожит перед нею, как школьник, который, впервые в жизни танцуя с молодой девушкой, спрашивает ее: «Любите ли вы танцы?» Но он умел и зарычать, когда это было нужно, и вытащить из ножен шпагу, и разбить статую командора. Его простота заключала в себе издевательство, а слезы – усмешку; умел он и заплакать в любую минуту, вроде той женщины, которая говорит мужу: «Заведи мне экипаж, иначе я умру от чахотки». Для негоциантов мир – это тюк товаров или пачка кредитных билетов, для большинства молодых людей – женщина, для иных женщин – мужчина, для остряков – салон, кружок, квартал, город; для дона Хуана Вселенная – это он сам! Образец изящества и благородства, образец чарующего ума, он готов был причалить лодку к любому берегу, но когда его везли, он плыл только туда, куда сам хотел. Чем дольше жил, тем больше во всем сомневался. Изучая людей, он видел, что часто храбрость не что иное, как безрассудство, благоразумие – трусость, великодушные – хитрость, справедливость – преступление, доброта – простоватость, честность – предусмотрительность; люди действительно честные, добрые, справедливые, великодушные, рассудительные и храбрые, словно по воле какого-то рока, нисколько не пользовались уважением.

«Какая же все это холодная шутка! – решил он. – Она не может исходить от Бога».

И тогда, отказавшись от лучшего мира, он уже не обнажал головы, если перед ним произносили священное имя, и статуи святых в церквах стал считать только произведениями искусства. Однако, отлично понимая механизм человеческого общества, он никогда не вступал в открытую борьбу с предрассудками, ибо он не мог противостоять силе палача, но изящно и остроумно обходил общественные законы, как это отлично изображено в сцене с господином Диманшем. И в самом деле, он сделался типом в духе мольеровского Дон Жуана, гетевского Фауста, байроновского Манфреда и матьюреновского Мельмота. Великие образы, начертанные величайшими талантами Европы, образы, для которых никогда не будет недостатка в аккордах Моцарта, а может быть – и в лире Россини! Эти грозные образы, увековеченные существующим в человеке злым началом, переходят в копиях из века в век: то этот тип становится посредником между людьми, воплотившись в Мирабо, то действует исподволь по способу Бонапарта, то преследует Вселенную иронией, как божественный Рабле, или, чаще, смеется над людьми, вместо того чтобы издеваться над порядками, как маршал Ришелье, а еще чаще глумится и над людьми, и над порядками, как знаменитейший из наших посланников. Но глубокий гений дон Хуана Бельвидеро предвосхитил все эти гении вместе. Он надо всем смеялся. Жизнь его стала издевательством над людьми, порядками, установлениями и идеями. А что касается вечности, то он однажды непринужденно беседовал полчаса с папой Юлием II, и, улыбаясь, заключил беседу такими словами:

– Если уж безусловно надо выбирать, я предпочел бы верить в Бога, а не в дьявола: могущество, соединенное с добротой, все же обещает больше выгод, чем дух зла.

– Да, но Богу угодно, чтобы в этом мире люди каялись...

– Вечно вы думаете о своих индальгенциях, – ответил Бельвидеро. – Для раскаяния в грехах моей первой жизни у меня имеется про запас еще целая жизнь.

– Ах, если так ты понимаешь старость, – воскликнул папа, – то, чего доброго, будешь причислен к лику святых...

– Все может статься, раз вы достигли папского престола.

И они отправились посмотреть на рабочих, воздвигавших огромную базилику Святого Петра.

– Святой Петр – гениальный человек, вручивший нам двойную власть, – сказал папа дону Хуану. – Он достоин этого памятника. Но иногда ночью мне думается, что какой-нибудь новый потомок смочет это все губкой и придется начинать сначала.

Дон Хуан и папа расхохотались, они поняли друг друга. Человек глупый пошел бы на следующий день развлечься с Юлием II у Рафаэля или на прелестной вилле «Мадама», но Бельвидеро пошел в собор на папскую службу, чтобы еще укрепиться в своих сомнениях. Во время кутежа папа мог бы сам себя опровергнуть и заняться комментариями к Апокалипсису.

Впрочем, мы пересказываем эту легенду не для того, чтобы снабдить будущих историков материалами о жизни дон Хуана: наша цель – доказать честным людям, что Бельвидеро вовсе не погиб в единоборстве с каменной статуей, как это изображают иные литографы. Достигнув шестидесятилетнего возраста, дон Хуан Бельвидеро обосновался в Испании. Здесь на старости лет он взял себе в жены молодую пленительную андалузку, но посчитал, что не стоит быть хорошим отцом, хорошим супругом. Он замечал, что нас нежно любят только женщины, на которых мы мало обращаем внимания. Воспитанная в правилах религии старухой теткой в глуши Андалузии, в замке неподалеку от Сан-Лукара, донья Эльвира была сама преданность, само очарование. Дон Хуан предугадывал в девушке одну из тех женщин, которые, прежде чем уступить страсти, долго борются с нею, поэтому надеялся сберечь ее верность до самой смерти. Эта его шутка была задумана всерьез, как своего рода партия в шахматы; он приберег ее на последние дни жизни. Наученный всеми ошибками своего отца Бартоломео, дон Хуан решил, что в старости все его поведение должно содействовать успешному развитию драмы, которой суждено было разыграться на его смертном ложе, поэтому большую часть богатств своих он схоронил в подвалах феррарского палаццо, редко им посещаемого, а другую половину своего состояния поместил в пожизненную ренту, чтобы жена и дети были заинтересованы в длительности его жизни. К этой хитрости следовало бы прибегнуть и его отцу, но в такой макиавеллистической спекуляции особой надобности не возникло. Юный Филипп Бельвидеро, его сын, вырос в такой же мере религиозным испанцем, в какой отец его был нечестив словно оправдывая пословицу: «У скупого отца сын расточитель». Духовником герцогини Бельвидеро и Филиппа дон Хуан избрал сан-лукарского аббата. Этот церковнослужитель, человек святой жизни, отличался высоким ростом, удивительной пропорциональностью телосложения, прекрасными черными глазами и напоминал Тиверия чертами лица, изможденного от постов и бледного от постоянных истязаний плоти (как всем отшельникам, ему были знакомы повседневные искушения). Может быть, старый вельможа рассчитывал, что успеет еще при-соединить к своим деяниям и убийство монаха, прежде чем истечет срок его первой жизни, но то ли аббат обнаружил силу воли, меньшую, чем у дон Хуана, то ли донья Эльвира оказалась благоразумнее и добродетельнее, чем полагается быть испанкам, – во всяком случае дону Хуану пришлось проводить последние дни у себя дома, в мире и тишине, как старому деревенскому попу. Иногда он с удовольствием находил у сына и жены погрешности в отношении религии и властно требовал, чтобы они выполняли все обязанности, налагаемые Римом на верных сынов церкви. Словом, он чувствовал себя совершенно счастливым, слушая, как галантный сан-лукарский аббат, донья Эльвира и Филипп обсуждают какой-нибудь вопрос совести. Но сколь чрезмерно ни заботился о своей особе сеньор дон Хуан Бельвидеро, настали дни дряхлости, а вместе со старческими болезнями пришла пора беспомощным стонам, тем более жалким, чем ярче были воспоминания о кипучей юности и отданных сладострастью зрелых годах. Человек, который издевательски внушал другим веру в законы и принципы, им самим предаваемые осмеянию, засыпал вечером, произнося: «Быть может!» Образец хорошего светского тона, герцог, не знавший усталости в оргиях, великолепный в волокитстве, встречавший

неизменное расположение женщин, чьи сердца он так же легко подчинял своей прихоти, как мужик сгибает ивовый прут, – этот гений не мог избежать неизлечимых мокрот, докучливого воспаления седалищного нерва, жестокой подагры. Он наблюдал, как зубы у него исчезают один за другим, – так по окончании вечеринки одна за другой уходят белоснежные и расфранченные дамы, и зал остается пустым и неприбранным. Наконец, стали трястись его дерзкие руки, стали подгибаться стройные ноги, и однажды вечером апоплексический удар сдавил ему шею своими ледяными крючковатыми пальцами. Начиная с этого рокового дня он сделался угрюм и жесток, усомнился в преданности сына и жены, порой утверждая, что их трогательные, деликатные, столь щедрые и нежные заботы объясняются только пожизненной рентой, в которую вложил он свое состояние. Тогда Эльвира и Филипп проливали слезы и удваивали уход за хитрым стариком, который, придавая нежность своему надтреснутому голосу, говорил им:

– Друзья мои, милая жена, вы меня, конечно, простите? Я вас мучаю немножко! Увы! Великий Боже! Ты избрал меня своим орудием, чтобы испытать два этих небесных создания! Их утешением нужно бы мне быть, а я стал их бичом...

Таким способом приковывал он их к изголовью своего ложа, и за какой-нибудь час, пуская в ход все новые сокровища своего обаяния и напускной нежности, заставлял их забывать целые месяцы бессердечных капризов. То была продуманная система, увенчанная несравнимо более удачными результатами, чем та, которую когда-то к нему самому применял отец. Наконец болезнь достигла такой степени, что, укладывая его в постель, приходилось с ним возиться, точно с фелюгой, когда она входит в узкий фарватер. А затем настал день смерти. Блестящий скептик, у которого среди ужаснейшего разрушения уцелел один только разум, теперь переходил в руки то к врачу, то к духовнику, внушавшим ему одинаково мало симпатий, но встречал их равнодушно. За покровом будущего не искрился ли ему свет? На завесе, свинцовой для других, прозрачной для него, легкими тенями играли восхитительные утехы его юности.

Однажды, в прекрасный летний вечер, дон Хуан почувствовал приближение смерти. Изумительной чистотой сияло небо Испании, апельсиновые деревья благоухали, трепещущий и яркий свет струили звезды; казалось, вся природа дает верный залог воскрешения. Послушный и набожный сын смотрел на него любовно и почтительно. К одиннадцати часам отец пожелал остаться наедине с этим чистосердечным существом.

– Филипп, – сказал он голосом настолько нежным и ласковым, что юноша вздрогнул и заплакал от счастья: суровый отец еще никогда так не произносил его имя! – Выслушай меня, сын мой, – продолжил умирающий. – Я великий грешник, оттого всю жизнь и думал о смерти. В былые годы я дружил с великим папой Юлием Вторым. Преславный глава церкви опасался, как бы крайняя вспыльчивость не привела меня к смертному греху перед самой кончиной, уже после миропомазания, и подарил мне флакон со святой водой, некогда брызнувшей в пустыне из скалы. Я сохранил в тайне это расхищение церковных сокровищ, но мне разрешено было открыть тайну своему сыну *in articulo mortis*. Ты найдешь фиал в ящике готического стола, который всегда стоит у изголовья моей постели²... Драгоценный хрусталь еще окажет услугу тебе, возлюбленный Филипп. Клянись мне вечным спасением, что в точности исполнишь мою волю!

Филипп взглянул на отца. Дон Хуан умел различать выражения чувств человеческих и мог почтить в мире, вполне доверившись подобному взгляду, меж тем как его отец умер в отчаянии, поняв по взгляду своего сына, что ему довериться нельзя.

– Другого отца был бы ты достоин, – продолжал дон Хуан. – Отважусь признаться, дитя мое, что, когда почтенный сан-лукарский аббат провожал меня в иной мир последним причастием, я думал, что несовместимы две столь великие власти, как власть дьявола и Бога...

² В смертный час (*лат.*).

– О, отец!

– ...и рассуждал: когда Сатана будет заключать мир, то непременно условием поставит прощение своих приверженцев, иначе он оказался бы самым жалким существом. Мысль об этом меня преследует. Значит, я пойду в ад, сын мой, если ты не исполнишь моей воли.

– О, отец! Скорей же сообщите мне вашу волю!

– Едва я закрою глаза – быть может, через несколько минут, – ты поднимешь мое тело, еще не остывшее, и положишь на стол, здесь, посреди комнаты. Потом погасишь лампу: света звезд тебе будет достаточно, – снимешь с меня одежду и, читая «Отче наш» и «Богородицу», а в то же время душу свою устремляя к Богу, тщательно смочишь этой святой водой мои глаза, губы, всю голову, затем постепенно все части тела. Но, дорогой мой сын, могущество Божье так безмерно, что не удивляйся ничему!

В этот миг, чувствуя приближение смерти, дон Хуан добавил ужасным голосом:

– Смотри не оброни флакон!

Затем он тихо скончался на руках у сына, проливавшего обильные слезы на ироническое и мертвенно-бледное его лицо.

Было около полуночи, когда дон Филипп Бельвидеро положил труп отца на стол и, поцеловав его грозный лоб и седеющие волосы, погасил лампу. При мягком свете луны, причудливые отблески которой ложились на пол, благочестивый Филипп неясно различал тело отца, белеющее в темноте. Юноша смочил полотенце жидкостью и с молитвой, среди глубокого молчания, послушно совершил омовение священной для него головы. Он явственно слышал какие-то странные похрустывания, но приписывал их ветерку, игравшему верхушками деревьев. Когда же он смочил правую руку, то его шею вдруг мощно обхватила молодая и сильная рука – рука его отца! Он испустил душераздирающий крик и выпустил флакон. Тот разбился, и жидкость испарилась. Сбежалась вся челядь замка с канделябрами в руках. Крик поверг их в ужас и изумление, как если бы сама Вселенная содрогнулась при трубном звуке Страшного суда. В одно мгновение комната наполнилась народом. Трепещущая от страха толпа увидела, что дон Филипп лежит без чувств, а его шею сдавливает могучая рука отца. А затем присутствующие увидели нечто сверхъестественное: лицо дон Хуана было юно и прекрасно, как у Антиноя: черные волосы, блестящие глаза, алый рот, но голова ужасающе шевелилась, будучи не в силах привести в движение связанный с нею костяк.

Старый слуга воскликнул:

– Чудо!

И все испанцы повторили:

– Чудо!

Донья Эльвира, при своем благочестии не в силах и мысли допустить о чудесах магии, послала за сан-лукарским аббатом. Когда приор собственными глазами убедился в чуде, то, будучи человеком неглупым, решил извлечь из него пользу: о чем же и заботиться аббату, как не об умножении доходов? – и тотчас объявил, что дон Хуан, безусловно, будет причислен к лику святых, и назначил торжественную церемонию в монастыре, которому, по его словам, отныне предстояло именоваться монастырем Святого Хуана Лукарского. При этих словах покойник скорчил шутовскую гримасу.

Всем известно, до чего испанцы любят подобного рода торжества, а потому не трудно поверить в то, какими религиозными феериями отпраздновало сан-лукарское аббатство перенесение тела *блаженного дон Хуана Бельвидеро* в церковь. Через несколько дней после смерти знаменитого вельможи из деревни в деревню на пятьдесят с лишком миль вокруг Сан-Лукара стремительно распространилось известие о чуде его частичного воскресения, и сразу же необыкновенное множество зевак потянулось по всем дорогам. Они подходили со всех сторон, приманиваемые пением «Тебе, Бога, хвалим» при свете факелов. Построенное маврами изумительное здание старинной мечети в сан-лукарском монастыре, своды которого уже три

века оглашались именем Иисуса Христа, а не Аллаха, не могло вместить толпу, сбежавшуюся поглядеть на церемонию. Как муравьи, собрались идалго в бархатных плащах, вооруженные своими славными шпагами, и стали вокруг колонн, ибо места не находилось, чтобы преклонить колена, которые больше нигде ни пред чем не преклонялись. Очаровательные крестьянки в коротеньких расшитых юбочках, которые обрисовывали их заманчивые формы, приходили под руку с седовласыми старцами. Рядом с расфранченными старухами сверкали глазами молодые люди. Были здесь и парочки, трепещущие от удовольствия, и сгорающие от любопытства невесты, приведенные женихами, и вчерашние новобрачные; дети, боязливо взявшиеся за руки. Вся эта толпа, привлекавшая богатством красок, поражавшая контрастами, убранная цветами и пестрая, неслышно двигалась среди ночного безмолвия. Распахнулись широкие церковные двери. Запоздавшие остались на паперти, и смотрели на зрелище, о котором лишь слабое понятие дали бы воздушные декорации современных опер, издали, через три открытых портала. Святоши и грешники, спеша заручиться милостями новоявленного святого, зажгли в его честь множество свечей по всей обширной церкви – корыстные приношения, придававшие монументальному зданию волшебный вид. Чернеющие аркады, колонны и капители, глубокие ниши часовен, сверкающие золотом и серебром, галереи, мавританская резьба, тончайшие детали этих тонких узоров – все вырисовывалось благодаря чрезвычайному обилию света (так в пылающем костре возникают причудливые фигуры). Над этим океаном огней господствовал в глубине храма золоченый алтарь, где возвышался главный престол, который своим сиянием мог поспорить с восходящим солнцем. Сверкание золотых светильников, серебряных канделябров, хоругвей, свисающих кистей, статуй святых и *ex voto* и в самом деле бледнело перед ракой, в которую положен был дон Хуан. Тело безбожника сверкало драгоценными камнями, цветами, хрусталем, бриллиантами, золотом, перьями, белоснежными, как крылья серафима, и занимало на престоле то место, которое отведено изображению Христа. Вокруг горели бесчисленные свечи, распространяя волнами сияние. Почтенный сан-лукарский аббат, облекшись в одежды священнослужителя, в митре, изукрашенной дорогими самоцветами, в ризе и с золотым крестом, восседал, как владыка алтаря, в царственно пышном кресле, среди клира бесстрастных седовласых старцев, одетых в тонкие стихари и окружавших его, как на картинах святители группами стоят вокруг Творца. Староста певчих и должностные лица капитула, убранные блестящими знаками своего церковного тщеславия, двигались среди облаков ладана подобно светилам, свершающим свой ход по небесному своду. Когда наступил час великого прославления, колокола разбудили окрестное эхо,³ и многолюдное собрание кинуло Господу первый клик хвалы, которым начинается «Тебе, Бога, хвалим». Какая возвышенность в этом клике! Голосам чистейшим и нежным, голосам женщин, молящихся в экстазе, мощно и величаво вторили мужчины. Тысячи громких голосов не мог покрыть орган, как ни гудели его трубы. И лишь пронзительные ноты, выводимые хором мальчиков, да плавные возгласы первых басов, вызывая прелестные представления, напоминая о детстве и силе, выделялись среди восхитительного концерта голосов человеческих, слитых в едином чувстве любви:

–Тебе, Бога, хвалим!

Из собора, где чернели коленопреклоненные мужские и женские фигуры, несло пение, подобное вдруг сверкнувшему в ночи свету, и как будто раскаты грома нарушали молчание. Голоса поднялись ввысь вместе с облаками ладана, набросившими прозрачное голубоватое покрывало на фантастические чудеса архитектуры. Повсюду богатство, благоухание, свет и мелодичные звуки! В то мгновение, когда музыка любви и признательности вознеслась к престолу, дон Хуан, чересчур вежливый, чтобы пренебречь благодарностью, чересчур умный, чтобы не понять этого глумления, разразился в ответ ужасающим хохотом и небрежно развалился в раке. Но так как дьявол внушил ему мысль, что он рискует быть принятым за самого

³ Приношения по обету (*лат.*).

обыкновенного человека, за одного из святых, за одного какого-нибудь Бонифация или Панталеоне, нарушил мелодию воем, к которому присоединилась тысяча адских голосов.

Земля благословляла, небо проклинала.

Дрогнули древние основания церкви.

– Тебе, Бога, хвалим! – гласило собрание.

– Идите вы ко всем чертям, скоты! Все Бог да Бог! Carajos demonios, животные, дурачье вы все вместе с вашим дряхлым Богом!⁴

И вырвался поток проклятий подобно пылающей лаве при извержении Везувия.

– Бог Саваоф!.. Саваоф! – воскликнули верующие.

– Вы оскорбляете величие ада! – ответил дон Хуан, заскрежетав зубами.

Вскоре ожившая рука высунулась из раки и жестом, полным отчаяния и иронии, пригрозила собравшимся.

– Святой благословляет нас! – сказали старухи, дети и женихи с невестами, люди доверчивые.

Вот как мы ошибаемся, поклоняясь кому-нибудь. Выдающийся человек глумится над теми, кто его восхваляет, а иногда восхваляет тех, над кем глумится в глубине души.

Когда аббат, простершись перед престолом, пел: «Святой Иоанне, моли Бога о нас!» – до него явственно донеслось:

– О coglione.⁵

– Что там происходит? – воскликнул заместитель приора, заметив какое-то движение в раке.

– Святой беснуется, – ответил аббат.

Тогда ожившая голова с силой оторвалась от мертвого тела и упала на желтый череп священнослужителя.

– Вспомни о донье Эльвире! – крикнула голова, вонзая зубы в череп аббата.

Тот испустил ужасный крик, прервавший церемонию. Сбежались все священники.

– Дурак, вот и говори, что Бог существует! – раздался голос в ту минуту, когда аббат, укушенный в мозг, испускал последнее дыхание.

Париж, октябрь 1830 г.

⁴ Испанское ругательство.

⁵ Дурак (*ит.*).

Неведомый шедевр

I. Жиллетта

В конце 1612 года, холодным декабрьским утром, какой-то юноша, весьма легко одетый, шагнул назад и вперед мимо двери дома, расположенного на улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна она ни была, юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей прихожую, юноша стал медленно подниматься, оставиваясь на каждой ступеньке, совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердца великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, когда счастье становится лишь воспоминанием, а слава – ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, – страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в годы безденежья и первых творческих замыслов не испытывал трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, како-го-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнения.

Удрученный нуждой и удивленный в эту минуту собственной своей дерзновенностью, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, стал с любопытством его рассматривать, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были еще иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и сла-

бому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленной великим художником. Старик бросил пронизательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:

– Добрый день, мэтр.

Порбус учтиво поклонился. Полагая, что тот пришел со стариком, он впустил юношу и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак, но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блески на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками пупырчатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины.

Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромаждали полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну, свет из которого падал прямо на бледное лицо Порбуса и голый, цвета слоновой кости, череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямыцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.

– Твоя святая мне нравится, – сказал старик Порбусу, – я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней... черт возьми!

– Вам нравится эта вещь?

– Хе-хе, нравится ли? – пробурчал старик. – И да и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую. И потому только, что время от времени смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, воображаете, будто вы художники и будто похитили тайну у Бога... Бррр! Для того чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение. Я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины: недостает пространства и глубины, – а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно. Несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни;

мне кажется, если приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и груди. Вот это место дышит, ну а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там – статуя, а дальше – труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.

– Но отчего же, дорогой учитель? – почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша едва сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками.

– А вот отчего! – сказал старик. – Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благодостной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул. В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь хотя бы того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой природы. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, – сказал старик, указывая на грудь святой. – И потом, еще здесь, – добавил он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. – Но вот тут, – указал он, снова возвращаясь к середине груди, – тут все неверно... Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние...

Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.

– Учитель, – сказал ему Порбус, – все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне...

– Задачи искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт! – живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. – Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой: ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз уж я взял этот пример, не только составляет часть человеческого тела – она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны – одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но не видите ее. Не таким путем удастся вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто: нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее, а схватив, держать крепко, чтобы принудить

к сдаче. Форма – это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или в крайнем случае вторым, третьим; не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, – сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. – Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях – та, какой она должна быть и у нас, – только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир – это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указывает нам выразительные средства, источник которых – вся прошлая жизнь. Вы облачаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая – брюнетка, но вот эти краски, бедный мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами, – и это вы называете живописью и искусством! Только из-за того, что сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях – *carrus venustus* или *pulcher homo*⁶

⁶ Прекрасная колесница (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.